

ГДЕ-ТО, страницы за 2—3 до конца повести «Вдовий пароход» И. Грековой («Новый мир», № 5, стр. 145), возникает такой вопрос: «Может ли быть предел человеческим мучениям?». Вопрос не новый, он звучал в искусстве миллионы раз, не вполне ново и объяснение, которое следует за ним:

«Я понимала, что Анфиса Михайловна умирает, но уже не желала ей жизни, думала: хоть бы скорей. Все мы так думаем, когда умирает тяжелый больной, измучивший себя и других. Мы оправдываем себя тем, что желаем конца мучений ему. Это ложь, на самом деле мы желаем конца мучений себе...».

Это рассуждение, ближайшим образом вызывающее в памяти обстоятельства смерти толстовского Ивана Ильича, приходит на ум и тогда, когда мы обнаруживаем еще в начале повествования, страниц за 80 до этого места, что перед нами опять повесть о войне, о ее последствиях. Да еще и такая, где ничто тяжелое не оставлено без внимания.

Пожалуйста: первое предложение — о гибели мужа героини на фронте. Мы «исподтишка» успели расслабиться — самое, значит, горькое произошло. И вот тут жестокий порядок событий — берет нас. Следует гибель матери и дочери героини, и как внасмешку оставленное ей покалеченное, но все живое тело. Дальнейшая судьба. Оказывается, и это все — лишь предыстория, рассказ о том, как попала интеллигентная женщина Ольга Ивановна Флерова в одну «коммуналку» с Анфисой, истинной героиней повести.

Таким образом, чтобы только войти в курс дела, мы должны уже пробраться, проползти, сдирая кожу не с тела, так с воображения, через мучения, почти немислимые. В принципе классические композиционные схемы рекомендуют такого рода мучительные куски оставлять для кульминаций, для каких-то важных и предпоследних точек в изложении. Но мало ли что они рекомендуют...

Здесь боль людская задана в самом начале, как первая, что ли, тема в развитии мысли и чувства, и, значит, дело вовсе не в ней одной.

А перед нами уже возник вопрос, похожий на тот, с которого я начал статью, хотя и не совсем тот же: «Для чего нужно говорить еще раз обо всем этом?».

И хотя мы, опытные и неглупые, можем сказать, что не стоит возвращаться к болям ушедшего времени — ясно, что желаем мы спокойствия прежде всего себе. Есть

ВВЕДЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО

ТАКОЕ НЕЛЕГКОЕ СТРАНСТВИЕ

естественное сопротивление молодого, здорового, пусть наивного восприятия: а зачем меня ведут все это?

В самой повести существует персонаж, который бунтует против огромных массивов чужой боли, как бы сжалившихся на него. Это Вадим, сын Анфисы.

С силой, почти непреодолимой, рвется он куда-то в другое место и время, где все «по правде» и все не так трудно. Мы уже готовы сочувствовать его порыву, если бы не одно обстоятельство. Сами эти рывки, сами старания выбраться во что бы ни стало из навязанного и действительного ведь не радостного сюжета становятся дополнительными — и острее — источниками боли для окружающих. Прежде всего для матери его, Анфисы, но ведь и для соседки, Ольги Ивановны, а в общем для всего, что стоит в них и за ними.

Мы быстро и точно ставим диагноз Вадимовым порывам «из сюжета» — это, разумеется, эгоизм.

Дело, однако, вовсе не в мгновенном срезе диагноза, пусть и правильного. Дело во всей, продолжая подввернувшееся сравнение, истории болезни и, главным образом, в поисках исхода из нее.

Порой кажется, что столько случилось с Вадимом еще до его рождения и, значит, безо всякой его вины, что можно его и понять. Война. Разлука матери с мужем. Фронтная ее любовь. Рождение сына «не от того». Возвращение мужа, трогательная, правильная и все же тайно мучительная связь между тайным отчимом и тайным пасынком — все это лишь пунктирное обозначение маршрута.

Еще важнее общий фон — послевоенные голодные годы, судорожные старания матери вырастить сына, спасти, выхаживать, поставить его на ноги.

Для нас, наблюдающих со стороны, как и для Ольги Ивановны, Анфиса в святые годится. Она ни от какой ноши не отказывается, ни на каплю не теряет вложенную в нее природой доброту.

«— Анфиса Михайловна, а зачем гусь?»

Гуся ребята (послевоенные сироты в Доме ребенка. —

А. А.) в глаза не видели, выросли в городе. Анфиса им объясняла как могла:

— От гуся перо, от пера подушка, от подушек сон сладкий, пуховой. Ты спи-поспи, моя деточка, говорит сон. А деточка спит, и в ушах у него колокольчики серебряные так и звонят...

— Звонят... — повторяли дети».

Святочная, сцена и святость, они ведь не только от одного корня.

Но вот Вадим — единственный не «полный сирота» — тоже растет в Доме ребенка. И становится там принцем... Это промежуточное состояние сначала кажется ему сладким. Горечь придет потом.

И в институт он чуть недобирает. Мать идет просить за него к декану — и все читатели счастливы, что декан оказывается умным и добрым. Вообще все счастливы. Кроме Вадима.

Для него одного мать — не святой человек, а великая грешница. Она и родила как-то не так. И еще раз пробовала человека привести. И вообще «все врети!». Ему, например, на сливочном масле жарит, а себе — на постном. Врет? Врет!

Максимализм Вадима понятен. И, пожалуй, неизбежен. Да, лучше бы, чтобы все «по правде», чтобы никто никогда не врал. Но Вадим еще не знает, что рвется к моральным стерильным небесам не потому, что там «не врут», а потому, что там не бывает боли и жалости.

Чтобы не видеть, не слышать, не знать своего бескрайнего долга перед матерью — вот для чего он и бежит от нее, и осуждает ее.

Еще в пределах книги он поймет что-то, начнет понимать. Его жизнь тоже будет далека от облачной непогрешимости, но зато войдут в нее боль и жалость человеческого тепла.

Он ведь единственный мужчина в этой нелегкой «коммуналке», обозначенной как «Вдовий пароход». А на пароходе должен быть капитан. А от капитана ждут, что выведет он свое судно к каким-то новым берегам, и бежать капитану куда-то не может...

А. АРОНОВ.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- 4 СЕН 1981